

# Темный цветок

**Автор:**

[Джон Голсуорси](#)

Темный цветок

Джон Голсуорси

«Темный цветок» (1913) – роман, задуманный, по словам Голсуорси, как «исследование Страсти»; это драма о любви и духовных исканий художника. С тонким психологизмом автор описывает смятение чувств влюбленного героя, для которого страсть как темный цветок, источающий терпкое благоухание. Человек в любом возрасте тоскует о любви, но лишь однажды дано ему испытать это могучее чувство, которое превосходит все, «которое и в бесчестии, горе и смятении духа содержит в себе всю истинную честь, радость и душевный покой».

Джон Голсуорси

Темный цветок

Ты возьми цветок с моей груди,

Вынь второй цветок из черных кос моих.

Теперь прощай – над нами ночь ясна,

И звездам радостно смотреть, как ты уходишь

«Песни с берегов Дымбовицы»

Часть I. Весна

Он шел по Холиуэлл-стрит ранним июньским вечером, сняв студенческую шапочку с темной густоволосой головы и приспустив с плеч короткую мантию. Юноша невысокого роста и такого сложения, словно в нем смешались две совершенно разные породы: одна – коренастая, плотная, другая – изящная, нервная. Лицо его также представляло собой редкостное сочетание разнородных качеств, ибо черты его были твердые, а выражение мягкое, чуть капризное. Его глаза – темно-серые, щедро освещенные изнутри и осененные очень черными ресницами, – умели глядеть куда-то вдаль, за пределы зримого, и оттого вид у него подчас бывал слегка отсутствующий; зато улыбка была неожиданно быстрая, обнажавшая вдруг белые, как у негра, зубы и зажигающая лицо удивительной живостью. Встречные поглядывали на него, ибо в 1880 году еще не принято было студентам ходить без шапочек. Особенно привлекал он внимание женщин; они видели, что он их вовсе не замечает, а просто идет, глядя вдаль, занятый какими-то своими мыслями.

Знал ли он сам, о чем думает? Мог ли он ответить на это определенно в ту пору своей жизни, когда повсюду, и в особенности за пределами сегодняшнего кругозора, было столько интересного и удивительного – столько всего он должен повидать и сделать, когда расстанется с Оксфордом, где к нему «ужасно добры» и вообще все, конечно, «милые люди», но не слишком интересные.

Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему реферат об Оливере Кромвеле; но, задержавшись под старой стеной, некогда замыкавшей в себе весь город, он вынул что-то из кармана. Это было живое существо, маленькая черепаха. Он с полным самозабвением смотрел, как она осторожно, вопросительно поводит плоской головкой, и не переставал ощупывать ее своими короткими, тупыми пальцами, словно хотел яснее представить себе, как она устроена. Ну и твердая же у нее спина! Не удивительно, что старику Эсхилу стало слегка не по себе, когда вот такая свалилась ему на голову![1 - Существует легенда, что древнегреческий трагик Эсхил умер оттого, что орел уронил ему на голову черепаху.] У древних она служила основанием, на котором) покоился мир – мир в виде пагоды, состоящей из людей, животных и деревьев, вроде той, что

вырезана на дверцах китайского шкафчика в гостиной у его опекуна. Китайцы здорово делали животных и деревья, точно они верили, что у всех предметов есть душа и они существуют вовсе не для того, чтобы люди их ели, запрягали или строили из них себе дома. Эх, если б только в художественной школе ему позволили лепить «по-своему», а не заставляли без конца копировать и копировать! Честное слово, они словно опасаются, как бы человек не придумал что-нибудь свое.

Он поднес черепашку к жилету и придерживал, а она ползла вверх, но потом он вдруг заметил, что она жуёт угол его реферата, и пришлось положить ее обратно в карман. Что бы сказал его профессор, если б узнал, кто сидит у него в кармане? Чуть склонил бы голову набок и произнес: «Есть многое на свете, друг мой Леннан, что и не снилось мудрости моей»[2 - Перефразированная реплика Гамлета.]. Это верно, немало существует такого, о чем старому Стормеру и не снилось; он, кажется, страшно боится всего мало-мальски необычного и всегда подсмеивается над тобой из страха, как бы ты не стал смеяться над ним. В Оксфорде много таких. И это очень глупо. Ведь если бояться людского смеха, то ничего не добьешься! Вот миссис Стормер, она не такая; она совершает поступки... просто потому, что ей так хочется. Но ведь она не англичанка, она австрийка, и потом она настолько моложе старого Стормера.

И, оказавшись у дверей профессорского дома, он позвонил...

## II

Когда Анна Стормер вошла в кабинет, ее муж стоял у окна, чуть склонив набок голову, – высокий, длинноногий, в мягком шерстяном костюме с отложным воротничком (что было редкостью в те дни) и синем шелковом галстуке, ею связанном, который он носил пропущенным через кольцо. Он что-то напевал, постукивая в такт по стеклу холеными ногтями. Хоть он и славился трудолюбием, она ни разу не застала его за работой в этом доме, который был выбран им за то, что отстоял более чем на милю от колледжа, где обитали «наши милые юные шуты», как он именовал своих учеников.

Он не обернулся – разумеется, в его привычки входило тратить свое внимание лишь на самое существенное, – но она знала, что он слышал, как она вошла. Она

приблизилась к стоявшему у окна креслу и села. Тогда он обернулся и произнес: «О!»

То было почти выражение восторга, для него отнюдь не обычное, ибо он никогда ничем не восхищался, если не считать избранных мест из произведений древних авторов. Но она знала, что сейчас она особенно хороша: солнечный луч освещает ее прекрасную фигуру, играет на блестящих каштановых волосах и искрится в ее льдисто-зеленых глубоко посаженных глазах, прикрытых черными ресницами. Для нее очень много значило, что она по-прежнему так красива. Сознать, что твой вид оскорбляет изысканный вкус супруга, – это было бы уж слишком. И без того скулы у нее, на его взгляд, чересчур выступали, символизируя чуждые ему черты ее характера, – ту безоглядность, страстность, то отсутствие какой-то английской ровности, что так его всегда раздражали.

– Харролд, – она так и не отучилась от раскатистого «р», – я хочу в этом году поехать в горы.

Горы! Она не видела их после того сезона в Сан-Мартино-ди-Кастроцца двенадцать лет назад, который кончился тогда их женитьбой.

– Ностальгия?

– Я не знаю, что это значит, – я соскучилась по родным местам. Мы поедем?

– Отчего же, если тебе хочется. Только что до меня, то, пожалуйста, без восхождений на Чимоне-делла-Пала.

Она поняла, что он хотел сказать: без романтики. А как великолепен он был в тот далекий день, когда они подымались на эту вершину! Она почти боготворила его. Как она была слепа! Как заблуждалась! Неужели это тот же человек стоит сейчас перед нею – с ясными, неверящими глазами, уже с сединой в волосах? Да, с романтикой покончено! Она сидела молча и глядела в окно на улицу – на ту старинную улочку, куда ей глядеть теперь дни и ночи. Кто-то прошел за окном, поднялся на крыльцо и позвонил. Она тихо сказала:

– Марк Леннан пришел.

Она почувствовала, как взгляд мужа мгновение задержался на ней, – это он отвернулся от окна и пробормотал: «Ах, шут-ангелочек!» Замерев, она ждала, чтобы открылась дверь. Вот он. Милая темная голова и эта мягкая, застенчивая серьезность. И реферат в руках.

– Ну, Леннан, как поживает старик Оливер? Гений лицемерия, а? Придвигайте стул; сейчас мы с ним живо покончим!

Она неподвижно сидела у окна и разглядывала пару за столом – юноша читал своим удивительным, бархатистым басом, а ее муж сидел, откинувшись, составив концами пальцы обеих рук, слегка наклонив набок голову и улыбаясь своей слабой, сардонической улыбкой, которая никогда не передавалась глазам. Да он дремлет, он заснул! А мальчик, не замечая, продолжает читать. Он дошел до конца и только тут поднял голову. Какие у него глаза! Другой бы посмеялся, но он только смутился. Она услышала, как он тихо произнес:

– Ради бога, простите, сэр.

– А, Леннан, каюсь, я попался! По правде сказать, этот семестр меня совсем доконал. Мы собираемся на лето в горы. Бывали вы в горах? Что? Никогда?! Вам надо поехать с нами. Что ты на это скажешь, Анна? Как по-твоему, разве не должен этот молодой человек поехать с нами?

Она встала и пристально смотрела на них. Уж не ослышалась ли она?

Потом ответила очень серьезно:

– Да, по-моему, ему надо поехать.

– И прекрасно; вот пусть он и лазит на Чимоне-делла-Пала.

### III

Когда юноша простился и ушел, она задержалась у порога в полосе солнечного света, падавшей через приоткрытую дверь, и стояла, прижав ладони к горящим

щекам. Потом захлопнула дверь и припала лбом к окну, невидящими глазами глядя на улицу. Сердце у нее учащенно билось; она еще и еще раз переживала то, что сейчас произошло. Все это значило гораздо больше, чем казалось со стороны. Правда, тоска по родине бывала у нее и раньше, особенно весной, но в этот раз совсем иное чувство заставило ее сказать мужу: «Я хочу поехать в горы!»

Двенадцать лет она тосковала по горам, но не просилась в горы; в этом году она попросилась в горы, но она уже по ним не тосковала. Наоборот, она пришла умолять мужа о поездке, потому что вдруг с недоумением осознала, что ей не хочется уезжать из Англии, и поняла причину своего нежелания. Но почему же тогда, решившись бежать от мыслей об этом юноше, она ответила: «Да, по-моему, ему надо поехать»? Нужды нет, ведь она всю жизнь разрывалась между разумом и порывом – странная, напряженная, мучительная двойственная жизнь! Сколько времени прошло с того дня, как он впервые появился у них в доме, молчаливый и застенчивый, с этой внезапной улыбкой, когда он весь словно озаряется внутренним светом? В тот день она сказала мужу после его ухода: «Да он просто ангел!» Еще и года нет. Ведь это было в октябре, в самом начале осеннего семестра. Он так отличался от всех студентов – он, конечно, был не гений с растрепанными волосами, в мешковатой одежде и острый на язык, – нет, но просто в нем есть что-то... что-то особенное; просто потому, что он – это он; потому что ей страстно хочется сжать в ладонях его голову и поцеловать. Она так ясно помнит тот день, когда это желание пришло к ней впервые. Она угощала его чаем, это было в самом начале весеннего семестра. Он сидел, гладил ее кошку, которая всегда сама лезла к нему на колени, и рассказывал ей, что хочет стать скульптором, а его опекун против, так что приходится все отложить до совершеннолетия. На столе стояла лампа под розовым абажуром; он пришел к ним после гонок на реке – а день был очень холодный, и его обычно бледное лицо пылало. И вдруг он улыбнулся и сказал: «Очень неприятно ждать, правда?» Вот тогда-то она чуть было не протянула к нему руки и не прижалась губами к его лбу. Она тогда думала, что поцелуй, о котором она мечтает, – материнский, что ей больше всего хотелось бы быть его матерью. Она и в самом деле годилась ему в матери, ведь могла же она выйти замуж в шестнадцать лет. Но теперь она уже давно поняла, что ей хочется поцеловать его не в лоб, а в губы. Да, он вошел в ее жизнь, он точно огонь очага в холодном, непроветренном доме; трудно даже представить себе, как она могла все эти годы жить без него. Она так скучала без него все полтора месяца пасхальных каникул и так радовалась его трем письмецам, полуробким, полудоверчивым; покрыла их поцелуями и носила за корсажем! И в ответ писала ему длинные, добропорядочные послания, по языку которых все еще было заметно, что она

иностранка. Она ничем не выдавала ему свои чувства; даже мысль, что он мог бы догадаться, страшила ее. Начался летний семестр, и думы о нем заполнили всю ее жизнь. Быть может, если бы не умер десять лет назад ее новорожденный ребенок, если бы его жестокая гибель – после мук, которые она приняла, – не убила бы в ней навсегда желание иметь детей, если бы она не жила все эти годы с сознанием, что ей уже нечего ждать тепла, что любовь для нее позади, если бы ее могла увлечь и захватить жизнь в этом красивейшем старинном городе, – тогда, быть может, у нее нашлись бы силы, чтобы подавить пробуждающееся чувство. Но ей нечем было защититься. Жизнь в ней была ключом, и она чувствовала, как все это пропадает даром, ни за что. Подчас ее совсем захлестывала страстная потребность жить – дать выход своим жизненным силам. Сколько одиноких прогулок совершила она за эти годы, стремясь раствориться в природе, – торопливо шла, почти бежала через безлюдные рощи и поля, ища спасения от мыслей о напрасно загубленной жизни, пытаясь вернуть себе настроения своей юности, когда перед нею открывался весь мир. Для чего так великолепна ее фигура, так блестят ее темные волосы, а глаза лучатся светом! Она перепробовала много разных занятий. Благотворительность, музыку, любительский театр, охоту; бралась, потом бросала; потом с увлечением бралась снова. Раньше это помогало. Но в этом году не помогло... И в одно воскресное утро, когда она возвращалась с исповеди, так и не дойдя до исповедальни, она отважилась взглянуть истине в глаза. То, что с ней происходит, дурно. Она должна убить в себе это чувство, должна бежать от этого юноши, к которому ее так влечет. Надо действовать немедленно, иначе ее захватит и понесет. И тут же возникла мысль: ну так что ж? Жизнь дана, чтобы жить, а не тупо дремать посреди этого культурного заповедника, где старость у людей в крови! Жизнь дана для любви, для счастья! А ей через месяц будет уже тридцать шесть лет. Ей казалось, что это ужасно много – тридцать шесть! Скоро она уже состарится, совсем состарится, так и не изведав страсти. Поклонение, возведшее в герои немолодого (он был на двенадцать лет старше ее) англичанина с благородным профилем, который возглавил тогда восхождение на Чимоне-делла-Пала, не было страстью. Оно, быть может, перешло бы в страсть, пожелай он этого. Но он весь – пристойность, лед, книги. Есть ли у него сердце, кровь ли течет в его жилах? Знакома ли радость жизни этому чересчур красивому городку и людям, в нем живущим? Этому городку, где даже вдохновение пристойно и бескрыло, где все имеет вид незыблемый и умудренный, как эти церкви и монастыри? Но все-таки... питать подобное чувство к юноше, почти мальчику, который ей чуть не в сыновья годится! Тут есть что-то... бесстыдное. Эта мысль преследовала ее, в темноте заливала краской ей щеки, когда она лежала ночами без сна. И тогда она принималась страстно молиться, – ибо она была набожна, – чтобы ей было дано

остаться чистой, чтобы ей ниспослано было святое материнское чувство, чтобы ее преисполнила простая готовность ради этого юноши, ради его блага, пойти на любые трудности и жертвы. После этих долгих молитв на душе становилось спокойнее, клонило в сон, словно она приняла снотворное. И так на несколько часов. А потом все начиналось сначала. Но она никогда не думала о том, что и он может полюбить ее; это было бы... противоестественно. Как может он ее полюбить? На это она не надеялась. После того воскресенья, когда она так и не зашла в исповедальню, она все пыталась придумать, как положить этому конец, как избавиться от страсти, которую у нее не было сил подавить. Вот тогда-то ей и пришла в голову мысль – уехать в горы, снова очутиться там, где ее муж впервые вошел в ее жизнь; быть может, там ее чувство угаснет. Если же нет, она попросит, чтобы муж оставил ее там, у ее родных, вдали от опасности. И вот теперь этот глупец – этот слепой, высокомерный глупец, с вечной своей сардонической усмешкой и неизменной снисходительностью – обратил ее план против нее самой. Ну что же, пусть пеняет на себя; она сделала, что могла. Она возьмет свою долю счастья, и будь что будет, пусть даже ей придется навсегда остаться там и потом никогда больше не видеть этого юноши.

Стоя в полутемной гостиной, где слабый запах древесной гнили просачивался в воздух всякий раз, стоило лишь закрыть окна и двери, она вся трепетала от тайной радости. Очутиться с ним в родных горах, показывать ему все эти удивительные утесы, сверкающие или бурые, землистые, подняться с ним вместе на их вершину и увидеть все царства земные у ног своих, бродить с ним по альпийским сосновым лесам, в аромате всех деревьев и цветов, в жарких лучах родного солнца! Первое июля – а сегодня только десятое июня! Как ей дожить до этого дня? Но теперь они поедут не в Сан-Мартино, а в Кортину, например, куда-нибудь в незнакомое место, свободное от воспоминаний.

Она отошла от окна и стала перебирать цветы в вазе на столике, потому что услышала, как напевает ее муж, – этот звук нередко служил провозвестником его появления, словно предупреждая мир, дабы тот поспешил принять к его приходу благопристойный вид. Счастливая, она сейчас глядела на мужа дружелюбно и признательно. Хотел он того или нет, но он подарил ей радость! Муж спускался по лестнице через две ступеньки с тем «неакадемическим» видом, который был ей так знаком; сняв с вешалки шляпу, он обернулся к Анне.

– Славный юноша, этот Леннан. Будем надеяться, он на нас там не нагонит скуку.



В его голосе слышался какой-то призыв раскаяния, словно он просил простить его за необдуманное приглашение. И ее вдруг одолел смех. Чтобы скрыть это, она подбежала к нему, пригнула его к себе за лацканы сюртука и поцеловала в кончик носа. И рассмеялась. А он стоял и глядел на нее, склонив слегка набок голову и чуть-чуть приподняв брови.

#### IV

Когда раздался легкий стук в дверь, Марк хоть и встал уже с постели, но еще не кончил одеваться – он то и дело застывал, сонно глядя в окно на горы, которые нежились в раннем свете утра, подобные огромным животными. Та, на которую им предстояло взобраться, словно чуть-чуть приподняла от лап голову, – она казалась сейчас такой далекой! Приотворив дверь, он шепнул в щелку:

– А что, уже пора?

– Пять часов. Вы разве не готовы?

Как это грубо – заставлять ее дожидаться. Он торопливо спустился в пустую столовую, куда заспанная горничная уже несла им кофе. Анна сидела там одна. На ней была синяя блуза с открытым воротом, зеленая юбка и серо-зеленая бархатная шапочка с тетеревиным пером. Почему это люди не могут всегда так красиво одеваться и выглядеть так замечательно?! Он сказал:

– Как вы сегодня хороши, миссис Стормер!

Она так долго не отвечала, что он уже начал опасаться, не прозвучало ли это грубо. Но ведь у нее и в самом деле был сейчас такой здоровый, оживленный, счастливый вид.

Путь вел под гору, через лиственничную рощу, к реке, а оттуда по мосту и вверх по склону через луга, где косили сено. Как мог старик Стормер проспять такое утро! Крестьянские девушки в синих полотняных юбках уже сгребали траву, которую успели накосить мужчины. Одна, работавшая на краю луга, выпрямилась, когда они проходили, и застенчиво им поклонилась. У нее было

лицо мадонны – очень спокойное, серьезное, доброе, с тонкими, изогнутыми бровями; глядеть на такое лицо – просто наслаждение. Юноша оглянулся на нее. Здесь все для него, никогда не выезжавшего за пределы Англии, было странным и восхитительным. Маленькие шале с широкими деревянными галереями, выкрашенными темно-коричневой краской, под далеко выступающими краями кровель. Яркие платья крестьянских женщин; и приветливые низкорослые коровы, все желтоватые, как густые сливки, но с серыми короткими мордами. Даже воздух здесь был другой, в нем играло бодрящее, животворное тепло, оно словно бы покрывало легкой коркой недвижимый массив мороза; и этот особый аромат предгорий – запах сосновой смолы, запах лиственничных дров и сладкий запах луговых цветов и трав. Но непривычнее всего было его собственное ощущение – гордость, сознание своей значительности, какой-то странный восторг оттого, что он с нею наедине, оттого, что он избран в спутники ею, которая так прекрасна.

Они обогнали всех других пешеходов, шагавших той же дорогой, – это чаще всего были толстяки немцы, у которых за спиной болтались стянутые ремнями куртки, а в руках были тяжелые альпенштоки и зеленые сумки; они двигались ровным, упорным шагом, пыхтя вслед Анне и ее юному спутнику: «Aber eilen ist nichts!»[3 - Спешить не годится! (нем.).]

Но этим двоим все казалось недостаточно быстро, сердца их летели еще быстрее. Это было не настоящее восхождение, а только тренировочная прогулка на вершину Нуволау; к полудню они были уже наверху и скоро пустились в обратный путь, терзаемые муками голода. Добравшись до Приюта Пяти Башен, они поспешили в его маленькую столовую и там застали компанию англичан, которые ели омлеты и, наградив Анну едва узнающими взглядами, продолжали разговаривать какими-то вымученными голосами, лениво нажимая на отдельные звуки и глотая другие с аристократической небрежностью. Почти у всех болтались через плечо бинокли, а на столах и на стульях лежали их фотоаппараты. Чертами лица они не особенно походили друг на друга, но губы у всех у них кривились в одинаковой кислой улыбке, и брови они все поднимали на один манер, так что все казались вариациями единого типа. И зубы почти у всех у них немного выдавались вперед, точно поджатые углы губ выталкивали зубы наружу. Ели они с таким видом, будто вообще-то они не склонны полагаться на чувства низшего порядка и предпочли бы вовсе не ощущать ни вкусов, ни запахов. «Из нашей гостиницы», – шепнула Анна; и, заказав шницели и красного вина, они уселись за стол. Дама, явно возглавлявшая эту компанию англичан, осведомилась, как поживает мистер Стормер – он не болен, она надеется? Нет? Просто ленится? Как странно. Ведь он, насколько ей известно, большой

любитель лазать по горам. Юноше почудилось, что эта дама их почему-то осуждает. Разговор в их компании шел между нею и господином, у которого был мятый воротничок и намотанный вокруг шляпы шарф со спущенными концами, а также еще одним господином, коренастым, седобородым, в черной просторной куртке с поясом. Стоило вмешаться кому-нибудь из молодежи, и его замечание встречалось круто вздернутыми бровями, опущенными веками, словно хотели сказать: «Ну что ж, пожалуй, для такого возраста недурно».

– Всего больнее мне наблюдать способность человеческой натуры кристаллизоваться, – так заявила дама-командирша, и юнцы задвигали головами вверх и вниз, выражая согласие.

«Как они похожи на цесарок, – подумал Марк, – головки маленькие, плечики покатые, одежда серенькая, в крапинку».

– Ах, сударыня (это вступил господин с помятым воротничком), вы, романисты, все время нападаете на драгоценное умение следовать традициям. А беда нашего времени – это нынешний дух сомнения. Никогда еще не была так велика у нас тяга к бунту, особенно среди молодежи. Когда индивид начинает рассуждать – это уже тяжелый симптом национального вырождения. Но данная тема едва ли подходит...

– Поверьте, что эта тема, безусловно, представляет животрепещущий интерес для нашей молодежи. – И снова юнцы подняли головы и повели ими легонько из стороны в сторону.

– О нет, боюсь, что мы позволяем занимательности заслонять от нас вопрос о целесообразности обсуждения некоторых предметов. Мы даем свободу подобным философствованиям, и они оплетают и опутывают нашу веру и парализуют ее.

Тут вдруг один из юнцов воскликнул: «Madre!..»[4 - Мать! (исп.).] – и умолк.

– Да простится мне такая вольность, – снова откликнулась дама, – но я скажу, что рассуждения опасны только тогда, когда ими занимаются грубые умы. Если культура нам ничего не дает, тогда откажемся от культуры; но если культура, как полагаю я, насущно необходима человечеству, тогда нам остается только принять и те опасности, которые она с собою несет.

И снова ее молодые собеседники задвигали головами, и младший из двух слушавших ее юнцов произнес: «Madre...»

– Опасности? Разве культурным людям грозят опасности?

Кто это спросил? Все брови высоко поднялись, углы губ у всех опустились, и стало тихо. Марк Леннан с изумлением смотрел на свою спутницу. Каким странным тоном задала она этот вопрос! И в глазах ее точно горело пламя. Наконец маленький господин с седой бородкой ответил ей своим тихим голосом, прозвучавшим на этот раз холодно и ядовито:

– Все мы, сударыня, живые люди.

Анна рассмеялась, и у Марка громко застучало сердце: смех ее звучал так, словно она хотела сказать: это вы-то живые люди? И, встав, он вышел вслед за ней из столовой. А там уже снова завязалась беседа – о погоде.

Они отошли уже довольно далеко от Приюта, когда Анна заговорила:

– Вам не понравилось, что я рассмеялась, да?

– По-моему, вы их обидели.

– А я и хотела. Терпеть не могу ваших английских надутых блюстителей нравов! Право же, не сердитесь на меня. Ведь они и в самом деле надутые ханжи – все до единого, верно?

И она такими глазами заглянула ему в лицо, что кровь прихлынула к его щекам и голова закружилась, – его точно магнитом тянуло к ней.

– У них в жилах водица, а не кровь! Какими голосами они разговаривают, какими презрительными взглядами окидывают тебя с головы до ног! О, я их знаю! И эта женщина с ее либерализмом, она не лучше, чем остальные. Ненавижу я их всех!

Ради нее он тоже готов был их возненавидеть; но они казались ему всего лишь забавными.

– Разве они живые люди? Они не умеют чувствовать! Вы еще их когда-нибудь узнаете. Тогда они не покажутся вам забавными.

И она продолжала негромким, задумчивым голосом:

– И зачем только они приезжают сюда? Здесь все такое молодое, теплое, живое. Лелеяли бы свою культуру там, где не знают, что значит страдать, испытывать голод, где ни у кого не бьется сердце. Вот послушайте!

Охваченный беспредельным смятением, он сам не сумел бы сказать, где так стучит кровь: в ее сердце или у него в ладони. Рад ли он был, когда она отпустила его руку?

– Пусть! Сегодняшний день им все равно не испортить. Давайте отдохнем.

На опушке лиственничной рощи, где они присели отдохнуть, росли розовые горные гвоздики с бахромчатыми лепестками и чудесным ароматом. Анна вскоре встала и принялась рвать их. А он остался сидеть на месте, и какие-то странные чувства теснили ему грудь. Синева небес, перистая хвоя лиственниц, очертания гор – все было для него сейчас не таким, как утром.

Она возвратилась с большим букетом розовых гвоздик и разжала пальцы прямо над ним, засыпав его цветами. Они падали ему на лицо, на шею. Никогда еще не вдыхал он такого запаха, не испытывал такого странного чувства. Они цеплялись за его волосы, сыпались на лоб, слепили глаза, один цветок повис у него на губах; а он глядел на нее сквозь бахрому их розовых лепестков. И, верно, было что-то в его взгляде, какое-то отражение теснившего его грудь чувства, ибо улыбка сбежала с ее лица; она отошла и стала спиной к нему. Смущенный, растерянный, он подбирал с земли рассыпанные цветы, и только собрав все до единого, поднялся и робко отнес их к ней туда, где она стояла, задумчиво глядя в полумрак рощи.

Что знал он о женщинах, чтобы понять? В школьные годы он не был знаком ни с одной; в Оксфорде – только с этой. Дома, куда он приезжал на каникулы, тоже не было женщин, если не считать его сестры Сесили. Две страсти их опекуна – рыбная ловля и местные древности – не располагали к светской жизни; так что покой старинного девонширского дома, с его панелями из мореного дуба и обнесенным каменной оградой запущенным парком над рекою, годами не смущало присутствие представительниц слабого пола, помимо Сесили и ее гувернантки мисс Тринг. И, кроме того, Марк был застенчив. Нет, в его прошлом, не насчитывающем еще и девятнадцати лет, не было ничего, что помогло бы ему сейчас. Он не принадлежал к тем молодым людям, которые только и думают, что о легких победах. Ему такие мысли казались грубыми, низкими, отвратительными. Немало понадобилось бы ясных признаков, прежде чем он догадался бы, что женщина в него влюблена, в особенности женщина, которую он высоко чтит и которую считает такой прекрасной. Ибо перед красотой он преклонялся, самого же себя видел грубым, нескладным. То была священная сторона жизни, и приближаться к ней надлежало с трепетом. Чем больше возрастало его восхищение, тем трепетнее и смиреннее делался он сам. И потому после той смятенной минуты, когда она засыпала его благоухающими цветами, он испытывал неловкость; и, шагая рядом с нею, был еще молчаливее, чем всегда, и смущен до глубины души.

Если в его сердце, которое было невинно, царило смущение, то что же должно было происходить в ее сердце, издавна лелеявшем тайную мечту о пробуждении в нем этого смятенного чувства? Она тоже молчала.

Когда они проходили мимо открытых дверей церкви на окраине деревни, она сказала:

– Я зайду туда, вы не ждите меня.

Внутри было пусто, полутемно. Там не видно было никого, только одна крестьянка, закутавшаяся в черную шаль, стояла на коленях неподвижная, точно изваяние. Ему очень хотелось остаться. Как прекрасна эта коленопреклоненная фигура, как играет улыбка солнечного света, просочившегося в полумрак! Он помедлил у входа и видел, как Анна тоже опустилась на колени в безмолвии храма. Значит, она молилась? И снова у него перехватило дыхание, как тогда, когда она рвала гвоздики. Как она сейчас прекрасна! Ему стало стыдно, что он испытывает такие чувства в то время, как она молится, и он решительно зашагал прочь. Но острое, сладкое стеснение в

груди не покидало его. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от ее образа, но от этого ее образ стал только еще ярче, а чувства его еще сильнее. Он поднялся к гостинице, там на террасе стоял его профессор. И странно, вид его смутил юношу не больше, чем если бы то был какой-нибудь портье. Стормера все это словно не касалось; он и сам, кажется, рад был остаться в стороне. И потом, он ведь так стар, – ему чуть не пятьдесят лет!

Этот столь старый человек стоял в своей излюбленной позе – руки в карманах просторной куртки, одно плечо чуть вздернуто, голова откинута немного набок; того и гляди, задаст какой-нибудь каверзный вопрос. Улыбнувшись подошедшему Леннану – но только не глазами, – Стормер сказал:

– Ну, молодой человек, куда же вы девали мою жену?

– Оставил ее в церкви, сэр.

– Вот как! Это на нее похоже. Она, верно, совсем загнала вас? Ах, нет? Тогда пройдемся немного и побеседуем.

Он прохаживался и разговаривал с ее мужем, словно так и надо, даже угрызений совести у него не возникало – будто все это не имело никакого отношения к его чувствам, которые были ему так внове. Мелькнуло только недоумение: как она могла выйти за такого – и тут же ушло. Мысль эта была далекой и академичной, вроде того недоумения, которое у него в раннем детстве вызывало пристрастие его сестренки к игре в куклы. Если он ощущал сейчас еще что-то, то лишь настойчивое желание уйти и спуститься к церкви. Ему было холодно и одиноко после целого дня, проведенного с нею, словно он оставил себя там, наверху, где они сегодня столько ходили вместе и сидели рядом на солнечном склоне. О чем это толкует старик Стормер? Ах, о различиях между греческим и римским понятием чести! Всегда в прошлом – ему, верно, настоящее представляется дурным тоном. Он сказал:

– А мы встретили там, на горе, компанию «надутых англичан».

– Ах, вот как! Какого же именно толка?

– Там! были, сэр, и прогрессивно мыслящие и отсталые; но, по-моему, сэр, это все едино.

– Понимаю. Так вы говорите: «надутые англичане»?

– Да, сэра, они из нашей гостиницы. Это миссис Стормер их так назвала. Они просто упивались своей важностью.

– Несомненно.

Что-то странное прозвучало в голосе, каким! было сказано это обычное слово. Юноша удивленно поглядел на своего собеседника – ему впервые подумалось, что и тот, кто стоит перед ним, – живой человек. Но тут же краска залила его щеки: сюда идет она! Подойдет ли она к ним? Как она хороша, загорелая, шагающая своей легкой походкой, будто только что вышла в путь! Но она скрылась в дверях гостиницы, даже не взглянув в их сторону. Неужели он обидел ее, оскорбил? И, сославшись на какое-то вымышленное дело, он попрощался со Стормером и ушел к себе в комнату.

Он остановился у окна, из которого утром любовался горами, что лежали, подобные львам, в туманном рассвете, и смотрел теперь, как солнце уходит за высокий горизонт. Что это приключилось с ним? Все стало другим, все стало совсем не таким, как с утра. Мир словно переродился. И снова грудь его стеснило неведомое чувство, словно на лицо, на плечи, на руки ему опять посыпались цветы, щекоча бахромчатыми краями лепестков и разрывая сердце сладким ароматом. И снова он словно слышал, как она говорит: «Вот послушайте!», – и чувствовал под пальцами удары ее сердца.

## VI

Оставшись наедине с коленапреклоненной женщиной в черной шали, Анна не молилась. Стоя на коленях, она горько роптала в душе своей. Зачем судьба послала ей это чувство, зачем вдруг озарилась ее жизнь, если Бог запрещает ей быть счастливой? Несколько горных гвоздик попали ей за пояс, и аромат их перебивал запахи ладана и старины. Нет, когда есть цветы, с их колдовством, с их воспоминаниями, молитва не придет. Да и хочет ли она молиться? Стремится ли она к тому состоянию отрешенности, в каком пребывает сейчас эта закутанная черной шалью женщина, которая за все время не двинула ни



мизинцем, обретая столь полное отдохновение для своей смиренной души, что жизнь словно бы вовсе покинула ее, оставив наслаждаться небытием? Какова же эта жизнь, когда существование твое настолько тягостно и настолько изо дня в день и час за часом! ничем не скрашено, что просто так постоять на коленях в тоскливом онемении чувств – и то уже счастье, единственное, доступное тебе? Это красиво, конечно, но грустно. И Анну охватило желание встать и подойти к этой женщине, чтобы сказать ей: «Открой мне свои печали, мы ведь с тобою обе женщины». Быть может, она похоронила сына или потеряла любовь, а может, не любовь, а так, мечту. Любовь... Отчего всякий дух тоскует по ней, отчего всякое тело, исполненное силы и радости жизни, чахнет и вянет, лишенное любви? И неужели в этом огромном мире не довольно любви, чтобы и ей, Анне, взять свою толику? Она не причинит ему вреда, ведь она заметит, когда перестанет быть нужна ему, и тогда у нее, уж конечно, достанет гордости и такта не удерживать его подле себя. Потому что она, естественно, вскоре надоеет ему. Разве может она, в ее возрасте, надеяться, что удержит его дольше, чем на несколько лет – или даже месяцев? Да и достанется ли он ей вообще? Юность так непреклонна, так жестока! Но тут ей вспомнились его глаза – глядящие на нее снизу, смятенные, страстные, – когда она осыпала его цветами. Воспоминание наполнило ей душу восторгом. Один ее взгляд тогда, одно прикосновение – и он бы сжал ее в объятиях. Она знала это и все же боялась поверить, это значило для нее так много. В тот миг мысль о муках, которые ждут ее, как бы все ни обернулось, показалась ей слишком жестокой и несправедливой. Она поднялась с колен. На пол от дверей все еще падал один косой солнечный луч; он дрожал на плитах примерно в ярде от молящейся крестьянки. Анна следила за ним. Успеет ли он коснуться коленопреклоненной женщины или же солнце раньше канет за горы, и луч погаснет? А та застыла, укутанная черной шалью, ничего не ведая, не подозревая. Луч все придвигался. «Если луч коснется ее, значит, он меня полюбит, хоть на час, да полюбит; а если погаснет...» Луч приближался. Эта меркнущая дорожка света, эти танцующие в ней пылинки – неужели и вправду вот оно, решение судьбы, знамение любви или тьмы? Луч гаснущего солнца медленно приблизился, поднялся над склоненной черной головой, затрепетал в золотой дымке – и исчез.

Едва держась на ногах, ничего не видя, Анна вышла из церкви. Почему она прошла мимо мужа и юноши, даже не взглянув в их сторону, она и сама не могла бы сказать. Разве потому, что жертвы не приветствуют своих мучителей. Очутившись у себя в комнате, она почувствовала смертельную усталость, легла на кровать и уснула крепким сном.

Разбудил ее какой-то звук, и, узнав в нем легкий стук мужа, она не отозвалась, – ей было все равно, войдет он или нет. Он бесшумно вошел. Если она притворится спящей, он ее будить не станет. Она лежала неподвижно и следила за тем, как он подвинул стул, сел на него верхом, обхватив спинку и уперев в руки подбородок, и пристально смотрел на нее. Из-под опущенных век Анна направила взгляд так, чтобы ей отчетливо видно было только одно его лицо, – вырванное из окружающего, оно обозначилось от этого еще четче и яснее. Ей вовсе не стыдно было такого взаимного разглядывания и того преимущества, которое у нее при этом оказалось. Он еще ни разу не дал ей увидеть, что у него на душе, ни разу не открыл ей, что таится за этими ясными насмешливыми глазами. Может быть, теперь она наконец увидит? И она рассматривала его с тем увлеченным интересом, с каким глядят в лупу на крохотный полевой цветок, который, вдруг утратив свою незначительность, возрастает до размеров и важности роскошного питомца оранжерей. Одна мысль не покидала ее: вот на меня смотрит его подлинное «я», потому что ему ведь незачем ограждать от меня сейчас. Поначалу взгляд его маскировала всегдашняя непроницаемость, лицо сохраняло привычное любезное выражение, но незаметно в нем наступила перемена. Она едва узнавала его: вся его любезность, вся непроницаемость исчезли, растаяли, как тает иней, обнажая траву. И душа ее сжалась, ибо она словно и вправду стала тем, что видел перед собой он, – чем-то совершенно незначительным, просто пустым местом. Да, да, у него было выражение человека, глядящего на то, чего нельзя понять, а потому и недостойное понимания, на существо, лишенное души, на создание, принадлежащее к иному, низшему виду, чем мужчина, и не представляющее никакого интереса. В лице его читался некий окончательный вывод, такой определенный и бесповоротный, что не оставалось сомнения: это его сущность, неотъемлемая, неизменная часть его «я». Вот что такое он! Женоненавистник. Ее первой мыслью было: и этот человек женат – что за судьба! А вторая: если таково его воззрение, то, может быть, и тысячи других мужчин это воззрение разделяют. Неужели и вправду я и все мы, женщины, такие, какими считают нас они? Уверенность в его взоре – его полная, абсолютная убежденность угнетала ее, и она на мгновение поддалась ей, раздавленная и уничтоженная. Но тут же дух ее восстал с такой яростью и кровь с такой силой устремилась по жилам, что она с трудом сохраняла неподвижность. Как смеет он считать ее такой – ничтожеством, бездушным клубком капризов, настроений и чувственности! Нет, тысячу раз нет! Это он – бездушное существо, сухарь, без жизни, без святыни. Он, в своем отвратительном высокомерии отрицающий ее и с нею всех женщин! Он смотрел так, словно видел перед собою лишь куклу, разряженную в разноцветные тряпки, помеченные ничего не значащими надписями: душа, ум, права, обязанности, достоинство, свобода. Это мерзко, ужасно, что он видит в ней

такую куклу! И в душе ее завязалась поистине титаническая борьба между желанием вскочить и бросить ему все это в лицо и сознанием, что было бы пошло, унижительно и глупо препираться с ним о том, в чем он никогда не признается, чего он никогда и не думал ей открывать. Потом на помощь ей пришла насмешливая, злая мысль: что за смешная вещь брак! Подумать только, она прожила с ним бок о бок все эти годы, даже и не догадываясь, что кроется в глубине его души! Подойди она, наверно, к нему сейчас и признайся, что любит этого мальчика, – он только подожмет губы и скажет насмешливым тоном: «Вот как? Очень интересно», – потому что он увидит в этом лишь подтверждение своим взглядам на нее как на незначительное, бессмысленное существо низшего порядка, не представляющее для него особого интереса.

Как раз когда она почувствовала, что больше сдерживаться не может, он вдруг встал со стула, на цыпочках подошел к двери, бесшумно отворил ее и вышел.

Она соскочила с постели, как только за ним закрылась дверь. Так, значит, она связана на всю жизнь с человеком, для которого она, да и вообще женщины как бы и вовсе не существуют! Ей казалось, что это – открытие великой важности, ключ ко всем загадкам, ко всей безысходности ее замужней жизни. Если действительно он в глубине души тайно ее презирает, единственное чувство, которое причитается от нее этому узколобому слепцу и сухарю, – это такое же презрение. Она, правда, отлично сознавала, что презрение не повлияет на то, о чем она прочтала по его лицу, – слишком надежно он огражден рассудочным, унылым сознанием собственного превосходства. Он навсегда укрылся за этими прочными стенами, и штурмовать их бесполезно. Впрочем, не все ли равно сейчас?

Обычно такая скорая, почти небрежная, она в тот вечер провела довольно много времени за туалетом. Шея у нее сильно загорела, и она никак не могла решить, запудрить ли ее или смириться с этой цыганской смуглостью. В конце концов решила обойтись без пудры, так как видела, что загар выигрышно оттеняет ее глаза в черных ресницах, такие прозрачно-зеленые, точно горные ледники, и темные волосы с их неожиданными проблесками пламени.

Когда позвонили к обеду, она вышла из комнаты, прошла мимо двери мужа, не постучав, как было у них заведено, и одна спустилась вниз.

В зале она застала кое-кого из компании англичан, повстречавшихся им днем в горном Приюте. Они не поклонились ей, вспыхнув вдруг повышенным интересом

к барометру; но она чувствовала на себе их внимательные взгляды. В ожидании обеда она села и сразу же увидела юного Леннана, который через весь зал шел к ней, словно во сне. Он не произнес ни слова. Но какими глазами он на нее смотрел! Сердце ее учащенно забилось. Может быть, вот оно, мгновение, о котором она мечтала? И если это оно, то хватит ли у нее смелости не пропустить его? Тут она заметила мужа, спускавшегося по лестнице, увидела, как он раскланивается с компанией англичан, услышала их надменные голоса. И, поглядев на юношу, быстро спросила: «Какая была хорошая прогулка, правда?» Как восхитительно видеть у него на лице это выражение, словно он забыл обо всем на свете, кроме нее! В его взгляде светилось в этот миг какое-то благоговение, смиренный восторг перед чудесами Природы. Ужасно думать, что через минуту это выражение исчезнет, чтобы никогда уже, быть может, не вернуться на его лицо, – выражение, которое так много для нее значит! Вот ее муж, он подходит к ним! Пусть видит, если желает. Пусть видит, что перед ней преклоняются, что не для всех она низшее существо. И он, вероятно, видел лицо юноши, но в манере его ничто не изменилось. Нет, он, верно, ничего не заметил. Или просто не снизошел до того, чтобы заметить?

## VII

И для юного Леннана наступили удивительные времена, когда он сам от минуты до минуты не мог сказать, счастлив ли он или несчастен. Он постоянно стремился быть с нею, терзался, когда это ему не удавалось, страдал, если она скажет слово или улыбнется кому-то другому; но и в ее обществе терзания не прекращались; его мучила и угнетала собственная робость.

Однажды дождливым утром, когда она играла внизу на рояле, а он сидел подле и слушал, воображая, что ему предоставлено безраздельно наслаждаться ее обществом, в зал вдруг вошел молодой немец-скрипач, с бледным лицом, в коричневом, в талию, сюртуке, с волосами до плеч и небольшими бачками, – словом, на редкость неприятный субъект. Леннан и оглянуться не успел, как уж этот неприятный субъект попросил ее ему аккомпанировать, – как будто кому-нибудь интересно слушать, как он пикирует на своей скрипке! Каждое ее слово, каждая улыбка, которые доставались немцу, причиняли юноше боль, он убеждался, что с этим иностранцем ей гораздо интереснее, чем с ним. На душе у него становилось все тяжелее, он думал: «Я должен бы только радоваться, раз ей с ним хорошо, а я не могу радоваться! Разве я виноват?» Непереносимо было

видеть, как она улыбается, а этот негодяй нагнулся к самому ее лицу. Вдобавок ко всему они еще говорили друг с другом по-немецки, так что он не знал даже, о чем у них разговор, и от этого муки его возрастали. Он и не подозревал, что человек может так страдать!

Потом ему захотелось, чтобы ей тоже стало больно. Впрочем, это ведь низкое чувство, да и как бы он мог причинить ей боль? Он же ей безразличен. Он для нее ничто, мальчишка. Если правда, что она считает его всего лишь мальчишкой, его, который чувствует себя таким старым, то это просто ужасно. Может быть, мелькнуло у него в уме, она кокетничает с этим недоучкой-скрипачом, чтобы подразнить его? Нет, на такое она не способна. Но скотина-немец возомнит бог знает что из-за ее улыбок. Вот бы он позволил себе какую-нибудь непочтительность! Пригласить бы его тогда на прогулку в лес, а там сказать ему несколько слов и потом задать хорошую трепку. А ей бы он ничего не стал говорить, не стал бы выставлять себя в выгодном свете. Просто держался бы в отдалении, пока она сама не поймет. Но тут он вдруг с такой ясностью, с такой остротой, с такой мукой представил себе, что бы он испытал, если бы она и в самом деле вместо него избрала себе в друзья этого немца, что встал порывисто и направился к двери. Неужели она ни слова не захочет ему сказать, не попробует остановить его, вернуть? Если нет, то все кончено: значит, кто угодно для нее важнее, чем он. Несколько шагов до двери были ему, как дорога на эшафот. Неужели не окликнет? Он обернулся. Она улыбалась. Но он в ответ улыбнуться не мог, слишком уж сильную боль она ему причинила! Отвернувшись, он вышел и ринулся без шапки под дождь. Холод струй на лице принес ему чувство мрачного удовлетворения. Вот сейчас он промокнет до костей. Простудится и, может быть, даже заболит. На чужбине, вдали от родных, – конечно, она должна будет за ним ухаживать. И, может быть, больной, он снова станет ей интереснее, чем этот тип со скрипкой, и тогда... ах, если б ему только заболеть!

Раздвигая мокрые ветки, он быстро взобрался по склону невысокой горы позади гостиницы. На вершину ее вела узкая тропка, и скоро он уже торопливо шагал по ней. Чувство обиды утихало, заболеть уже не хотелось. Дождь перестал, засветило солнце; а он шел все вверх и вверх. Он подымется на вершину быстрее, чем это кому-нибудь удавалось. Тут-то уж подлому скрипачу с ним не потягаться! Сосны сменились карликовыми лиственницами, те, в свою очередь, уступили место низкорослым сосенкам и голым каменистым осыпям, по которым он карабкался, хватаясь за кусты, задыхаясь, слыша лишь стук своего сердца и почти ослепнув от пота. Его интересовало сейчас только одно: успеет ли он долезть до вершины или прежде свалится, обессиленный. Казалось, он вот-вот

упадет мертвый, так сильно билось его сердце; но лучше уж умереть, чем отступить перед какими-нибудь несколькими ярдами! И вот наконец маленькая площадка на вершине. Минут десять пролежал он на ней ничком, потом перевернулся на спину. Сердце перестало бешено колотиться, он с наслаждением перевел дух, раскинул руки на дымящейся после дождя траве, – он был счастлив. Как чудесно тут наверху, в горячих лучах солнца, сияющего с безоблачного уже неба! И каким маленьким кажется отсюда все внизу: гостиница, деревья, домики, улицы, – точно игрушечные! Никогда в жизни не испытывал он раньше этой чистой радости быть высоко вверху. В клочья разорванные тучи тянулись, гонимые ветром, вдоль горных хребтов на юге, точно бегущие полчища титанов в запряженных белыми конями колесницах. Ему вдруг подумалось: «Что из того, если бы я и вправду умер, когда так страшно билось у меня сердце? На свете ничего бы не изменилось: все так же светило бы солнце, так же сияла бы лазурь в небесах и те же игрушечные домики стояли бы там в долине». Муки ревности, которые терзали его час назад, да они ничто! Он сам ничто! Не все ли равно, если даже она и была ласкова с тем немцем в коричневом сюртуке? Разве это имеет значение, когда мир так велик, а он лишь крохотная его частица?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Существует легенда, что древнегреческий трагик Эсхил умер оттого, что орел уронил ему на голову черепаху.

2

Перефразированная реплика Гамлета.

3

Спешить не годится! (нем.).

4

Мать! (исп.).

----

Купить: [https://tellnovel.com/ru/golsuorsi\\_dzhon/temnyy-cvetok](https://tellnovel.com/ru/golsuorsi_dzhon/temnyy-cvetok)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)